

# 1. Сила советского гуманизма

## 1.1. Сила советского гуманизма

Величественные пространства СССР окружены мраком фашистской злобы и первыми вспышками войны.

Новое истребление человечества среди бела дня открыто готовится вокруг нас.

Невиданное в истории мира совершилось: после многих десятилетий классовой борьбы, в конце кровавых путей раздробления, эксплуатации и войны вырос на равнинах некогда нищей и отсталой России сияющий великий социализм. Он создан героической борьбой замечательного поколения людей, гением их руководителей Ленина и Сталина.

С каждым новым днём он всё выше и выше вздымает к небу дворцы нового человеческого счастья, он поражает мир величавым спокойствием нового человеческого достоинства, новой культуры, нового искусства.

Советская литература — художественное отражение мысли этого нового человечества.

Жизнь Советского Союза, каждое его деяние есть дело всего человечества, это дело в самых своих корнях насыщено глубочайшей уверенностью в своей правоте, это дело освобождения, дело гуманизма.

И одно из величайших и прекрасных особенностей советской литературы — постоянное, неиссякаемое звучание гуманизма, пленительная красота лучших человеческих стремлений, о которых на протяжении всей истории мечтали самые совершенные люди.

В 1916 году, в самое мрачное время мировой бойни, Маяковский сказал:

*И он, свободный, ору о ком я, человек — придёт он, верьте мне, верьте!*

И он пришёл — человек!

Гуманизм нашей литературы, развернувшийся перед всем миром в эпоху последних катастрофических схваток, когда-нибудь будет признан одним из самых поразительных явлений революции. В чём сила, в чём уверенность нашей великой гуманистической проповеди?

Мы окружены буйным безумием агонизирующего империализма. Где-то там, в чащах дымящих труб Рура, на нищих полях Италии, в тесноте японских ограбленных городов, последние капиталисты истории жаждут войны. Они протягивают жадные руки во все стороны: к железу, к углю, к машинам, к нефти, к хлебу.

В смертельном отчаянии конца каждый фашистский лагерь бредит о завоевании мира. И Гитлер, и Муссолини, и японские генералишки — порождение этого общего бреда.

Против этой мировой шайки сумасшедших мы подняли и высоко держим наши гуманистические знамёна.

В этом лишний раз сказывается наше историческое здоровье — здоровье побеждающего молодого социализма.

Присмотримся только к одной нашей литературной теме, к той теме, в которой особенно разительно нарисована пропасть между нами и ими.

В советской литературе на страницах очень многих романов, повестей и рассказов проходит тема строительства и индустриализации. Заводские цехи — вот те самые громады, те самые машины, краны, экскаваторы, которые на Западе встают в воображении писателя как символы подавления и истощения человечества, как представители жадного, бесчувственного и беспринципного Молоха, — у нас возносятся, как храмы, овеванные радостной симпатией нового человека. Там от них рождается захватническая жадность, расплзающаяся вширь энергия эксплуататоров, у нас от них родится только энергия побед над природой, возносящаяся вверх энергия общечеловеческого богатства. Там между машинами бродит закованный в нормы квалифицированный раб, у нас над ними стоит свободный хозяин — человек. И так естественно: там машины и богатство рожают войну, у нас от них исходит мысль о едином счастливом человечестве — социалистический гуманизм.

Гуманизм нашей литературы не заключён в скобки формальных пожеланий, он не литературная поза, он заключён в самих наших темах, в самом тоне писателя, в его социалистическом самочувствии. Социалистический реализм может с полным правом быть назван гуманистическим реализмом, ибо наш реализм построен на оптимистической убеждённости, на мажоре всей нашей жизни и на предвидении освобождения человечества.

И поэтому наш гуманизм читается в каждой нашей строчке и дополнительно между всеми строчками. О чём бы ни рассказывала наша литература, о «дне втором» нашего строительства,

о будущей войне «на Востоке», об одноэтажной Америке, о жизни замечательных пионеров, о перевоспитании беспризорных, о любви, о ревности, о завоевании Северного полюса и о детстве Пушкина, с каждой страницы смотрит на читателя лицо свободного человечества, будущее лицо мира. И это лицо и его уверенная радость могущественнее и убедительнее оскаленных зубов фашизма! Знамя гуманизма — это знамя не благостной мечты, это знамя непобедимой силы.

И поэтому в нашем гуманизме совершенно не присутствует мысль о примирении, он не пахнет бездеятельным, словесным пацифизмом.

И если вспыхнет война, наш гражданин и гражданин мира под знаменем гуманизма спокойно свернёт шею любой фашистской гадине, под каким бы национальным флагом она ни бросилась на СССР. И эта победа будет самой гуманистической победой в истории. Она будет той победой, о которой мечтал Гейне:

*В драке со скотами буду  
Драться я за человека,  
За исконное святое  
Человеческое право!*

## **1.2. Прекрасный памятник**

Детская трудовая коммуна имени Ф.Э. Дзержинского в Харькове не только хорошее учреждение, несущее на своём знамени это имя. Во всей деятельности, в каждом дне своей жизни, в сложном кружеве детского коллектива она отражает и оживляет образ Феликса Эдмундовича. Коммуна — живая композиция живых движений прекрасных новых людей. Именно поэтому коммуна прежде всего производит впечатление большой художественной силы, её жизнь вылеплена с такой же экспрессией таланта, какую мы обычно встречаем и находим в произведениях искусства. И поэтому, говоря о коммуне, нельзя не говорить о её авторах, о тех людях, которые изваяли этот замечательный памятник. Достаточно только один раз побывать в коммуне, только прикоснуться к жизни дзержинцев, чтобы сразу увидеть, сколько глубокой мысли, сколько внимания, любви и вкуса заложено в каждом кирпиче её здания, в каждом луче пронизывающего её солнца, в каждой ли-

нии цветника и в особенности в жизни тридцати коммунарских отрядов, в их быте, традициях, законах, в высоком человеческом стиле этого коллектива.

Как прекрасна была жизнь Феликса Эдмундовича, так же прекрасна история коммунаров: в течение всех девяти лет коммуна не знала провалов, не знала разложения или упадка энергии, ни одного дня в её истории не было такого, когда бы имя Ф.Э. Дзержинского звучало укором. И это случилось вовсе не потому, что в коммуны приходили какие-либо особые дети, здоровые и радостные. В коммуны приходили именно те, о которых Ф.Э. Дзержинский сказал: «Сколько их искалечено борьбой и нуждой!»

Великая и простая любовь Ф.Э. Дзержинского к детям выражена была им однажды в таком коротком и таком выразительном слове: «Когда смотришь на детей, так не можешь не думать — всё для них. Плоды революции не нам, а им».

Не презрение, не высокомерную подачку, не ханжеское умиление перед человеческим несчастьем подарили чекисты этим исключительным детям. Они дали им то, о чём с таким человеческим чувством говорил Феликс Эдмундович, — все дали самое дорогое в нашей стране: плоды революции, плоды своей борьбы и своих страданий. А среди этих плодов не паркет, не цветы, не чудесные солнечные комнаты главное. Главное — новое отношение к человеку, новая позиция человека в коллективе, новая о нём забота и новое внимание. И только поэтому искалеченные дети, пришедшие в коммуны, переставали нести на себе проклятие людей «третьего сорта». Они становились дзержинцами. Об этом хорошо знают коммунары, потому что и самый путь коммунара в коммуне обозначается знаменательным чертежом движения: вот ты пришёл в коммуны — ты только воспитанник; ты уже пошёл вперёд — ты получаешь звание коммунара, наконец, ты ведёшь других, ты борешься впереди, ты хорошо знаешь, за что борешься, — ты получаешь звание коммунара-дзержинца. Этот путь не такой уж лёгкий, ибо на лёгком пути создаются и лёгкие люди, а коммунары-дзержинцы справедливо утверждают: «Человека нужно не лепить, а ковать».

Этот путь не лёгкий, но всегда неизменно радостный, бодрый путь победителя. Коммуна железного Феликса умеет воспитывать в своих прекрасных дворцах, окружённых цветами, не только улыбку друга, не только хорошее, тёплое товарищеское слово, но и суровое слово большевика, железное требование и непоко-

лебимую принципиальность. В её жизни как в зеркале отражается личность Ф.Э. Дзержинского — личность великого гуманиста, скромного и доброго человека и в то же время сурового борца, чекиста. И поэтому таким уверенным и таким большевистским всегда был и будет путь коммуны имени Ф.Э. Дзержинского, и поэтому с тем большим успехом она выполняет одну из основных своих задач — помощь детям.

К сожалению, в нашем обществе мало знают о жизни коммуны и мало людей наблюдали те чудесные операции, которые с таким блеском и с таким спокойствием умеют совершать коммунары. Постановление партии и правительства от 1 июня 1935 года о полной ликвидации беспризорности застало коммуну в составе пятисот коммунаров. В течение нескольких месяцев к ним пришли новые пятьсот, пришли с улицы, из зала суда, из неудачных, деморализованных семей. И в настоящее время только очень опытный глаз способен отличить, где старые, испытанные дзержинцы, а где новые, только что налаженные воспитанники. В коммуне давно не существует института воспитателей, и, принимая новых пятьсот, ни один коммунар не предложил в панике: давайте всё-таки пригласим воспитателей.

Продельвая эту совершенно невероятной трудности операцию, коммунары не просили помощи, но, и закончив её, они не возгордились, не кричали о своих успехах, они, кажется, даже и не заметили успеха, потому что у них много забот и много новых дел и новых стремлений. Среди этих стремлений лицо коммунара-хозяина особенно прелестно.

Ф.Э. Дзержинский оставил коммунарам и второй большевистский завет — строительство. И поэтому, выковывая для советского общества сотни новых большевиков, коммунары делают это как будто между делом, а дело у них серьёзное — одно из славных дел нашего времени. Кто теперь не знает ФЭД — советской «Лейки»? Кто не мечтает иметь в своих руках эту прекрасную вещь, и ФЭД, пожалуй, даже более известен, чем коммуна Ф.Э. Дзержинского. История ФЭД — сама по себе чудеснейшая история, это история борьбы, страстного стремления к победе и страстного неутомимого терпения. Эта машинка оказалась гораздо более трудной, чем казалась вначале, а дзержинцам пришлось освоить её без заграничной помощи.

Выполняя многомиллионные промфлинпланы, с гневом вгрызаясь в каждое производственное препятствие, с огромным

чувством и размахом подхватив стахановское движение, они способны были всегда поставить «Тартюфа» на своей сцене, не пропустить ни одной премьеры в харьковских театрах, танцевать, петь, сотнями считать значки ГТО и требовать от каждого коммунара, чтобы он был ворошиловским стрелком. И уже совсем как будто нечаянно из последнего класса коммунарской десятилетки ежегодно выходят десятки культурных, образованных людей, а через год приезжают в коммуну в гости и рассказывают простыми словами о своём новом пути: инженера, врача, педагога, лётчика, радиста, актёра. И пожалуй, никто из них не думает о том, что в своей жизни они выражают лучшие стремления нашего советского стиля, они находят те пути, за которые боролся Ф.Э. Дзержинский.

*г. Киев*

### **1.3. Счастье**

Великая Октябрьская революция — это небывалые в истории сдвиги в жизни отдельных людей, в жизни нашей страны, в жизни всего мира. Невозможно перечислить те изменения, которые она принесла в историю человечества.

Но, как это ни странно, мы очень мало знаем о законах тех изменений, которые являются последней целью революции, итогом всех её побед и достижений — мы мало говорим о человеческом счастье. Часто, правда, мы вспоминаем о нашем счастье, вспоминаем с волнением и благодарностью, но мы ещё не привыкли говорить о нём с такой же точностью и определённой, как о других победах революции.

Такое отношение к счастью нами исторически унаследовано. Испокон веков люди привыкли вести учёт только бедственным явлениям жизни. Свои горести, болезни, падение, нищету, оскорбления и унижения, катастрофы и отчаяние люди давно научились подробно анализировать, до самых тонких деталей называть и определять. Это они умели делать и в жизни, умели делать и в литературе. Художественная литература прошлого, собственно говоря, и есть бухгалтерия человеческого горя. В то же время мы не можем назвать ни одной книги, в которой с такой же придирчивой добросовестностью, так же пристально, с таким же знанием дела разбиралось и показывалось человеческое счастье.

Некоторые писатели изредка упоминают о счастье, но всегда это самый простой и общедоступный его сорт — произведение матери-природы — любовь. Для такого счастья теоретически достаточно иметь в наличии взаимную склонность двух существ. ничего сверх этого как будто не требуется.

Писатели имели склонность к изображению такого счастья, но они... не имели красок для этого. В этом деле ни один писатель не ушёл дальше самого среднего успеха. Любовное счастье, его настоящее живое и длительное функционирование, счастье в собственном смысле, а не только надежды на счастье писатели изображали одинаково скучно и однообразно.

Писатели знали о своей беспомощности в изображении даже простого любовного счастья, но они не хотели и не могли демонстрировать такую беспомощность перед читателем. Поэтому самую лучезарную любовную радость они предпочитали смять новым набором бедствия, горя и препятствий, в изображении которых они всегда были мастерами. Самая патетическая история любви «Ромео и Джульетта» есть в то же время и самая бедственная история.

Нужно, впрочем, сказать, что читатели на это никогда не обижались, так как читатели тоже всегда предпочитали описание страданий. Одним словом, издавна человек всегда был специалистом именно по несчастью, по горестному событию и всегда любил такие произведения, где счастьем даже и не пахло. Самые милые для нас, самые близкие сердцу произведения художественной литературы стараются обходить счастье десятой дорогой или удовлетворяются констатацией пушкинского типа:

*А счастье было так возможно,  
Так близко.*

У Лермонтова, у Достоевского, у Гоголя, у Тургенева, у Гончарова, у Чехова так мало счастья и в строчках, и между строчками. Очень редко оно приближается на пушкинскую дистанцию, но немедленно его лёгкий и волшебный образ уносится какой-нибудь жизненной бурей.

Почему это так? Почему вся прошлая художественная литература так не умеет, так не любит изображать счастье, т.е. то состояние человека, к которому он всегда естественно стремится и из-за которого, собственно говоря, живёт?

Почему в номенклатуре художественных форм мы имеем драму и трагедию, т.е. форму страдания, а не имеем ничего для темы

радости? Если мы хотим повеселиться и порадоваться, то смотрим фарс или комедию, т.е. любимея поступками людей, которых, пожалуй, даже и не уважаем. Почему на самых последних задворках, среди разной мелочи, давно захирела идиллия?

Некоторые литераторы даже полагают, что счастье по самой природе своей не может быть предметом художественного изображения, ибо последнее невозможно будто без игры коллизий и противоречий.

Этот вопрос подлежит, разумеется, серьёзному и глубокому теоретическому исследованию. Но уже и сейчас можно высказать некоторые предчувствия, и единственным основанием для таких предчувствий является новый образ счастья, выдвинутый Октябрьской революцией. В этом образе мы видим новые черты и новые законы человеческой радости, видим их впервые в истории. Именно эти новые черты позволяют нам произвести подлинную ревизию старых представлений о счастье и понять, почему так уклончиво относилась художественная литература к этой теме.

Представим себе, что у Онегина и Татьяны счастье было не только возможно, но и действительно наступило. Не только для нас, но и для Пушкина было очевидно, что это счастье, как бы оно ни было велико в субъективных ощущениях героев, недостойно быть объектом художественного изображения. Человеческий образ и Онегин, и Татьяна могут сохранить в достойном для искусства значении только до тех пор, пока они страдают, пока они не успокоились на полном удовлетворении. Что ожидало эту пару в лучшем случае? Бездеятельный, обособленный мир неоправданного потребления — в сущности, безнравственное, паразитическое житие.

Передовая литература, даже дворянская, всё же не находила в себе дерзости рисовать картины счастья, основанного на эксплуатации и горе других людей. Такое счастье, даже несомненно приятное для его обладателей, в самом себе несло художественное осуждение, ибо всегда противоречило требованиям самого примитивного гуманизма. Как кинематографический фильм не выносит бутафорских костюмов, так подлинно художественная литература не выносит морали капиталистического и вообще классового общества.

Именно поэтому литература не могла изображать счастье, основанное на богатстве. Но она не могла изображать и счастье



в бедности, ибо подобная идиллия не могла, конечно, обойтись без участия ханжества.

Искусство, всякое настоящее искусство, никогда не могло открыто оправдать человеческое неравенство.

Классовая жизнь — это жизнь неравной борьбы, это история насилия и сопротивления насилию. В этой схеме человеческому счастью остаётся такое узкое и сомнительное место, что говорить о нём в художественном образе — значит говорить о вещах, не имеющих общественного значения.

Старое счастье находилось в полном обособлении от общественной жизни, оно было предметом узколичного «потребления», в известной мере спрятанного, секретного, долженствующего вызывать зависть тех, кого человеческое неравенство поставило на одну даже ступеньку ниже. В жёстком эксплуататорском обществе жизнь личности колебалась от циничной жизни насильника до такой же циничной и безобразной жизни подавленного человека, и поэтому счастье всегда содержало в себе некоторый элемент того же цинизма.

Только Октябрьская революция впервые в истории мира дала возможность родиться настоящему, принципиально чистому, нестыдному счастью. И прошло только 20 лет со дня Октября, а на наших глазах с каждым днём ярче и искренне это счастье реализуется в нашей стране. До чего смешно теперь говорить только о любовном счастье, о том самом единственном, принудительном суррогате его, о котором кое-как пытались говорить старые художники.

Наше счастье — это очень сложный, богатейший комплекс самочувствия советского гражданина. В этом комплексе любовная радость именно потому, что она не обособлена, не уединена в своём первобытно-природном значении, дышит полнее, горит настоящим горячим костром, а не теплится где-то в семейной лачуге в качестве одного из наркотиков, умеряющих страдания человека.

Но наше советское счастье гораздо шире. Оно так велико, что наше молодое искусство ещё не умеет его изображать, хотя оно, несомненно, должно составить самую достойную тему для художника.

Ведь наше счастье уже в том, что мы не видим разжиревших пауков на наших улицах, не видим их чванства и жестокости, роскошных дворцов, экипажей и нарядов эксплуататоров, толпы

прихлебателей, приказчиков и лакеев, всей этой отвратительной толпы паразитов второго сорта, не видим ограбленных, искалеченных злобой масс, не знаем беспросветных, безымянных биографий. Но счастье ещё и в том, что и завтра мы не увидим их, в просторах обеззараженных наших перспектив.

Это самое исключительное счастье, но мы уже привыкли к нему. Вот эта наша замечательная двадцатилетняя привычка — это то самое здоровье, которого человек обычно не замечает.

Но мы богаче даже этого замечательного богатства. Двадцать лет Октября принесли нам не только свободу, но и плоды свободы.

Мы научились быть счастливыми в том высочайшем смысле, когда счастьем можно гордиться. Мы научились быть счастливыми в работе, в творчестве, в победе, в борьбе. Мы познакомились с радостью человеческого единения без поправок и исключений, вызванных соседством богача. Мы научились быть счастливыми в знании, потому что знание перестало быть привилегией грабителей. Мы научились быть счастливыми в отдыхе, потому что мы не видим рядом с собой праздности, захватившей монополию отдыха. Мы научились быть счастливыми в ощущении нашей страны, потому что теперь это наша страна, а не нашего хозяина. Мы знаем теперь, какая красота и радость заключается в дисциплине, потому что наша дисциплина — это закон свободного движения, а не закон своеволия порабощителей.

В каждом нашем ощущении присутствует мысль о человеке и о человечестве, и наше счастье поэтому не только явление общественное, но и историческое. И только поэтому оно освобождено от признаков тягостной случайности и эфемерности, оно никакого отношения не имеет к судьбе — этой старой своднице былых людских предназначений.

Но наше счастье — это вовсе не подарок «провидения» советскому гражданину. Оно завоёвано в жёсткой борьбе, и оно принадлежит только нам — искренним и прямым членам бесклассового общества. И поэтому оно приходит не к каждому, кому захочется поселиться на нашей территории. Тому, кто умеет плавать только в мутной воде эксплуатации, счастья у нас не положено. Больше того, ему положены у нас по меньшей мере неприятности.

Законы нашего советского счастья требуют пристального и глубокого изучения, но мы не беспокоимся по этому поводу, ибо, в отличие от всякого другого мира, наш закон общий, закон государственный, есть, собственно говоря, закон о счастье.

Остаётся нашей художественной литературе найти приёмы и краски для изображения нашей жизни. Она это уже начала делать.

## 1.4. Максим Горький в моей жизни

В удушливые годы перед японской войной в том захолустье, где прошла моя молодость, литературные явления замечались с большим опозданием. В городской библиотеке мы доставали истрёпанных, без последних страниц Тургенева и Засодимского, а если и попадалось нам что-нибудь поновее, то это обязательно были или граф Салиас, или князь Волконский.

И тем ярче и ослепительнее прорезало нашу мглу непривычно простое и задорное имя: Максим Горький.

Мы с трудом добывали его книги.

Горький приходил к нам только изредка и вдруг огненной стрелой резал наше серое небо, а после этого становилось ещё темнее. Но нам уже было ясно, что Максим Горький не просто писатель, который написал рассказ для нашего развлечения, пусть и больше: для нашего развития, как тогда любили говорить. Горький вплотную подошёл к нашему человеческому и гражданскому бытию. Особенно после 1905 года его деятельность, его книги и его удивительная жизнь сделали источником наших размышлений и работы над собой.

Ни с чем не сравнимым по своему значению стало «На дне». Я и теперь считаю это произведение величайшим из всего творческого богатства Горького, и меня не поколебали в этом убеждении известные недавние высказывания Алексей Максимовича о своей пьесе. То, что Лука врёт и утешает, разумеется, не может служить образцом поведения для нашего времени, но ведь никто никогда Луку и не принимал как пример; сила этого образа вовсе не в нравственной его величине. Едва ли было бы убедительнее, если бы Лука излагал программу социал-демократов большевиков и призывал обитателей ночлежки... к чему, собственно говоря, можно было их призывать? Я продолжаю думать, что «На дне» — совершеннейшая пьеса нового времени во всей мировой литературе. Я воспринял её как трагедию и до сих пор так её ощущаю, хотя на сцене её трагические моменты, вероятно по недоразумению, затушёваны. Лукавый старец Лука с его

водянистым бальзамом именно потому, что он ласков и бессилен, страшным образом подчёркивает обречённость, безнадежность всего ночлежного мира и сознательно ощущает ужас этой безнадежности. Лука — образ высокого напряжения, выраженный в исключительной силе противоречия между его мудрым безжалостным знанием и его не менее мудрой жалостной ласковостью. Это противоречие трагическое и само по себе способно оправдать пьесу. Но в пьесе звучит и другая, более трагическая линия — линия разрыва между той же безжалостной обречённостью и душевной человеческой прелестью забытых «в обществе» людей. Великий талант Максима Горького сказался в этой пьесе в нескольких разрезах и везде одинаково великолепен. Он блещет буквально в каждом слове, каждое слово здесь — произведение большого искусства, каждое вызывает мысль и эмоцию. Я вспоминаю руки Бубнова — руки, которые кажутся такими прекрасными в прошлом, когда они были грязными от работы, и такими жалкими теперь, когда они «просто грязные». Вспоминаю бессильный вопль Клеща: «Пристанища нету!» — и всегда ощущаю этот вопль как мой собственный протест против безобразного, преступного «общества». И то, что Горький показал ночлежку в полном уединении от прочего мира, у меня лично всегда вызывало представление как раз об этом «мире». Я всегда чувствовал за стенами ночлежки этот самый так называемый мир, слышал шум торговли, видел разряженных бар, болтающих интеллигентов, видел их дворцы и «квартиры»... и тем больше ненавидел всё это, чем меньше об этом «мире» говорили жители ночлежки...

Мой товарищ Орлов, народный учитель, с которым я был на спектакле, выходя из театра, сказал мне:

— Надо этого старичка уложить в постель, напоить чаем, укрыть хорошенько, пускай отдыхает, а самому пойти громить всю эту... сволочь...

— Какую сволочь? — спросил я.

— Да вот всех, кто за это отвечает.

«На дне» прежде всего вызывает мысль об ответственности, иначе говоря, мысль об революции. «Сволочи» ощущаются в пьесе как живые образы. Вероятно, для меня это яснее, чем для многих людей, потому что вся моя последующая жизнь была посвящена тем людям, которые в старом мире обязательно кончали бы в ночлежке. А в новом мире... здесь невозможно никакое сравнение. В новом мире лучшие деятели страны, за которыми идут мил-

лионы, приезжают в коммуны имени Дзержинского, бывшие кандидаты в ночлежку показывают им производственные дворцы, пронизанные солнцем и счастьем спальни, гектары цветников и оранжереи, плутовато-дружески щурят глаза в улыбку и говорят:

— А знаете что, Павел Петрович? Мы эту хризантему вам в машину поставим, честное слово, поставим. А только дома вы её поливайте.

— Убирайтесь вы с вашей хризантемой, есть у меня время поливать...

— Э, нет, — возмущается уже несколько голосов, — раз вы к нам приехали, так слушайте. Понимаете, дисциплина...

Но так получается теперь, когда ответственность «общества» реализована в приговоре революции. А тогда получалось иначе. Предреволюционное мещанство хотело видеть в пьесе только босяков, бытовую картину, транспарант для умиления и точку отправления для житейской мудрости и для молитвы: «Благодарю тебя, господи, что я не такой, как они». Самоё слово «босяки» сделалось удобным щитом для закрывания глаз на истинную сущность горьковской трагедии, ибо в этом слове заключается некоторое целительное средство, в нём чувствуется осуждение и отграничение...

Максим Горький сделался для меня не только писателем, но и учителем жизни. А я был просто «народным учителем», и в моей работе нельзя было обойтись без Максима Горького. В железнодорожной школе, где я учительствовал, воздух был несравненно чище, чем в других местах; рабочее, настоящее пролетарское общество крепко держало школу в своих руках, и «Союз русского народа» боялся к ней приближаться. Из этой школы вышло много большевиков.

И для меня, и для моих учеников Максим Горький был организатором марксистского мироощущения. Если понимание истории приходило к нам по другим путям — по путям большевистской пропаганды и революционных событий, по путям нашего бытия в особенности, то Горький учил нас ощущать эту историю, заражал нас ненавистью и страстью и ещё большим уверенным оптимизмом, большой радостью требования: «Пусть сильнее грянет буря!»

Человеческий и писательский путь Горького был для нас ещё и образцом поведения. В Горьком мы видели какие-то кусочки самих себя, может быть, даже бессознательно мы видели в нём

прорыв нашего брата в недоступную для нас до сих пор большую культуру. За ним нужно было броситься всем, чтобы закрепить и расширить победу. И многие бросились, и многие помогли Горькому...

Бросился, конечно, и я. Мне казалось некоторое время, что это можно сделать только в форме литературной работы. В 1914 году я написал рассказ под названием «Глупый день» и послал Горькому. В рассказе я изобразил действительное событие: поп ревнует жену к учителю; и жена, и учитель боятся попа; но попа заставляют служить молебен по случаю открытия «Союза русского народа», и после этого поп чувствует, что он потерял власть над женой, потерял право на ревность и молодая жена приобрела право относиться к нему с презрением. Горький прислал мне собственноручное письмо, которое я и теперь помню слово в слово:

*Рассказ интересен по теме, но написан слабо, драматизм переживания попа не ясен, не написан фон, а диалог неинтересен. Попробуйте написать что-нибудь другое.*

М. Горький

Меня мало утешило признание, что тема интересна. Я увидел, что и для писателя нужна большая техника, нужно что-то знать о фоне, нужно предъявлять какие-то требования к диалогу. И нужен ещё талант; очевидно, с талантом у меня слабовато. Но сам Горький научил меня человеческой гордости, и я эту гордость пустил немедленно в дело. Я подумал, что можно, разумеется, «написать что-нибудь другое», но совершенно уже доказано, что ничего путного в этом другом заключаться не будет. Я без особого страдания отбросил писательские мечты, тем более что и свою учительскую деятельность ставил очень высоко. Бороться в прорыве на культурном фронте можно было и в роли учителя. Горький даже порадовал меня своей товарищеской прямоотой, которой тоже ведь надо было учиться.

Учительская моя деятельность была более или менее удачна, а после Октября передо мной открылись невиданные перспективы. Мы, педагоги, тогда так опьянели от этих перспектив, что уже и себя не помнили, и, по правде сказать, много напутали в разных увлечениях. К счастью, в 20-м году мне дали колонию для правонарушителей. Задача, стоявшая передо мною, была так трудна и так неотложна, что путать было некогда. Но и прямых нитей в моих руках не было. Старый опыт колоний малолетних преступников